# Литературная исповедь

***Сознаться должен я, что наши хрестоматы
 Насчет моих стихов не очень тороваты.
 Бывал и я в чести; но ныне век другой:
 Наш век был детский век, а этот — деловой.
 Но что ни говори, а Плаксин и Галахов,
 Браковщики живых и судьи славных прахов,
 С оглядкою меня выводят напоказ,
 Не расточая мне своих хвалебных фраз.
 Не мне о том судить. А может быть, и правы
 Они. Быть может, я не дослужился славы
 (Как самолюбие мое ни тарабарь)
 Попасть в капитул их и в адрес-календарь,
 В разряд больших чинов и в круг чернильной знати,
 Пониже уголок — и тот мне очень кстати;
 Лагарпам наших дней, светилам наших школ
 Обязан уступить мой личный произвол.
 Но не о том здесь речь: их прав я не нарушу;
 Здесь исповедью я хочу очистить душу:
 При случае хочу — и с позволенья дам —

Я обнажить себя, как праотец Адам.
 Я сроду не искал льстецов и челядинцев,
 Академических дипломов и гостинцев,
 Журнальных милостынь не добивался я;
 Мне не был журналист ни власть, ни судия;
 Похвалят ли меня? Тем лучше! Не поспорю.
 Бранят ли? Так и быть — я не предамся горю;
 Хвалам — я верить рад, на брань — я маловер,
 А сам? Я грешен был, и грешен вон из мер.
 Когда я молод был и кровь кипела в жилах,
 Я тот же кипяток любил искать в чернилах.
 Журнальных схваток пыл, тревог журнальных шум,
 Как хмелем, подстрекал заносчивый мой ум.
 В журнальный цирк не раз, задорный литератор,
 На драку выходил, как древний гладиатор.
 Я русский человек, я отрасль тех бояр,
 Которых удальство питало бойкий жар;
 Любил я — как сказал певец финляндки Эды —
 Кулачные бои, как их любили деды.
 В преданиях живет кулачных битв пора;
 Боярин-богатырь, оставив блеск двора
 И сняв с себя узду приличий и условий,
 Кидался сгоряча, почуя запах крови,
 В народную толпу, чтоб испытать в бою
 Свой жилистый кулак, и прыть, и мощь свою.
 Давно минувших лет дела! Сном баснословным
 Угасли вы! И нам, потомкам хладнокровным,
 Степенным, чопорным, понять вас мудрено.
 И я был, сознаюсь, бойцом кулачным. Но,
 «Журналов перешед волнуемое поле,
 Стал мене пылок я и жалостлив стал боле».

Почтенной публикой (я должен бы сказать:
 Почтеннейшей — но в стих не мог ее загнать) —
 Почтенной публикой не очень я забочусь,
 Когда с пером в руке за рифмами охочусь.
 В самой охоте есть и жизнь, и цель своя
 (В Аксакове прочти поэтику ружья).
 В самом труде сокрыт источник наслаждений;
 Источник бьет, кипит — и полон изменений:
 Здесь рвется с крутизны потоком, там, в тени,
 Едва журча, змеит игривые струи.
 Когда ж источник сей, разлитый по кувшинам,
 На потребление идет — конец картинам!
 Поэзии уж нет; тут проза целиком!
 Поэзию люби в источнике самом.

Взять оптом публику — она свой вес имеет.
 Сей вес перетянуть один глупец затеет;
 Но раздроби ее, вся важность пропадет.
 Кто ж эта публика? Вы, я, он, сей и тот.
 Здесь Петр Иванович Бобч\_и\_нский с крестным братом,
 Который сам глупец, а смотрит меценатом;
 Не кончивший наук уездный ученик,
 Какой-нибудь NN, оратор у заик;
 Другой вам наизусть всего Хвостова скажет,
 Граф Нулин никогда без книжки спать не ляжет
 И не прочтет двух строк, чтоб тут же не заснуть;
 Известный краснобай: язык — живая ртуть,
 Но жаль, что ум всегда на точке замерзанья;
 «Фрол Силич», календарь Острожского изданья,
 Весь мир ему архив и мумий кабинет;
 Событий нет ему свежей, как за сто лет,
 Не в тексте ум его ищите вы, а в ссылке;
 Минувшего циклоп, он с глазом на затылке.
 Другой — что под носом, того не разберет
 И смотрит в телескоп всё за сто лет вперед,
 Желудочную желчь и свой недуг печальный
 Вменив себе в призыв и в признак гениальный;
 Иной на всё и всех взирает свысока:
 Клеймит и вкривь и вкось задорная рука.
 И всё, что любим мы, и всё, что русским свято,
 Пред гением с бельмом черно и виновато.
 Там причет критиков, пророков и жрецов
 Каких-то — невдомек — сороковых годов,
 Родоначальников литературной черни,
 Которая везде, всплывая в час вечерний,
 Когда светилу дня вослед потьма сойдет,
 Себя дает нам знать из плесени болот.
 Так далее! Их всех я в стих мой не упрячу.
 Кто под руку попал, тех внес я наудачу.
 Вот вам и публика, вот ваше большинство.
 От них опала вам, от них и торжество.
 Всё люди с голосом, всё рать передовая,
 Которая кричит, безгласных увлекая;
 Всё люди на счету, всё общества краса.
 В один повальный гул их слившись голоса
 Слывут между людьми судом и общим мненьем.
 Пред ними рад пребыть я с истинным почтеньем,
 Но всё ж, когда пишу, скажите, неужель
 В Бобч\_и\_нском, например, иметь себе мне цель?
 В угоду ли толпе? Из денег ли писать?
 Всё значит в кабалу свободный ум отдать.
 И нет прискорбней, нет постыдней этой доли,
 Как мысль свою принесть на прихоть чуждой воли,
 Как выражать не то, что чувствует душа,
 А то, что принесет побольше барыша.
 Писателю грешно идти в гостинодворцы
 И продавать лицом товар свой! Стихотворцы,
 Прозаики должны не бегать за толпой!
 Я публику люблю в театре и на балах;
 Но в таинствах души, но в тех живых началах,
 Из коих льется мысль и чувства благодать,
 Я не могу ее посредницей признать;
 Надменность ли моя, смиренье ль мне вожатый —
 Не знаю; но молве стоустой и крылатой
 Я дани не платил и не был ей жрецом.

И я бы мог сказать, хоть не с таким почетом:
 «Из колыбели я уж вышел рифмоплетом».
 Безвыходно больной, в безвыходном бреду,
 От рифмы к рифме я до старости бреду.
 Отец мой, светлый ум вольтеровской эпохи,
 Не полагал, что все поэты скоморохи;
 Но мало он ценил — сказать им не во гнев —
 Уменье чувствовать и мыслить нараспев.
 Издетства он меня наукам точным прочил,
 Не тайно ль голос в нем родительский пророчил,
 Что случай — злой колдун, что случай — пестрый шут
 Пегас мой запряжет в финансовый хомут
 И что у Канкрина в мудреной колеснице
 Не пятой буду я, а разве сотой спицей;
 Но не могли меня скроить под свой аршин
 Ни умный мой отец, ни умный граф Канкрин;
 И как над числами я ни корпел со скукой,
 Они остались мне тарабарской наукой…

Я не хочу сказать, что чистых муз поборник
 Жить должен взаперти, как схимник иль затворник.
 Нет, нужно и ему сочувствие людей.
 Член общины, и он во всем участник с ней:
 Ее труды и скорбь, заботы, упованья —
 С любовью братскою, с желаньем врачеванья
 Всё на душу свою приемлет верный брат,
 Он ношу каждого себе усвоить рад,
 И, с сердцем заодно, перо его готово
 Всем высказать любви приветливое слово.
 И славу любит он, но чуждую сует,
 Но славу чистую, в которой пятен нет.
 И я желал себе читателей немногих,
 И я искал судей сочувственных и строгих;
 Пять-шесть их назову — достаточно с меня,
 Вот мой ареопаг, вот публика моя.
 Житейских радостей я многих не изведал;
 Но вместо этих благ, которых бог мне не дал,
 Друзьями щедро он меня вознаградил,
 И дружбой избранных я горд и счастлив был.
 Иных уж не дочтусь: вождей моих не стало;
 Но память их жива: они мое зерцало;
 Они в трудах моих вторая совесть мне,
 И вопрошать ее люблю наедине.
 Их тайный приговор мне служит ободреньем
 Иль оставляет стих «под сильным подозреньем».

Доволен я собой, и по сердцу мне труд,
 Когда сдается мне, что выдержал бы суд
 Жуковского; когда надеяться мне можно,
 Что Батюшков, его проверив осторожно,
 Ему б на выпуск дал свой ценсорский билет;
 Что сам бы на него не положил запрет
 Счастливый образец изящности афинской,
 Мой зорко-сметливый и строгий Боратынский;
 Что Пушкин, наконец, гроза плохих писак,
 Пожав бы руку мне, сказал: «Вот это так!»
 Но, впрочем, сознаюсь, как детям ни мирволю,
 Не часто эти дни мне падают на долю;
 И восприемникам большой семьи моей
 Не смел бы поднести я многих из детей;
 Но муза и теперь моя не на безлюдьи,
 Не упразднен мой суд, есть и живые судьи,
 Которых признаю законность и права,
 Пред коими моя повинна голова.
 Не выдам их имен нескромным наговором,
 Боюсь, что и на них посыплется с укором
 Град перекрестного, журнального огня;
 Боюсь, что обвинят их злобно за меня
 В пристандержательстве моей опальной музы —
 Старушки, связанной в классические узы, —
 В смешном потворстве ей, в пристрастии слепом
 К тому, что век отпел и схоронил живьем.
 В литературе я был вольным казаком, —
 Талант, ленивый раб, не приращал трудом,
 Писал, когда писать в душе слышна потреба,
 Не силясь звезд хватать ни с полу и ни с неба,
 И не давал себя расколам в кабалу,
 И сам не корчил я вождя в своем углу…***